

ную драму, спустить занавес, но как это сделать? Я думаю, что, если бы в таком положении мог очутиться человек дюжинный, он покончил бы самоубийством. Человек недюжинный будет, разумеется, искать других выходов, и таких представляется не один» («Отечеств. записки», 1875, июнь; также Сочинения, том III, столбцы 491-492).

Одним из таких выходов, по мнению Михайловского, было бы создание литературных произведений, предназначенных для народа. Конечно, немногие настолько счастливы, что обладают необходимыми для этой цели талантами и способностями.

«Но раз он (Л. Н. Толстой) уверен, что нация состоит из двух половин и что даже невинные, «не предосудительные» наслаждения одной из них клонятся к невыгоде другой, — что может мешать ему посвятить свои громадные силы этой теме? Трудно даже себе представить, чтобы какие-нибудь иные темы могли занимать писателя, носящего в душе такую страшную драму, какую носит в своей гр. Толстой: так она глубока и серьезна, так она захватывает самый корень литературной деятельности, так она, казалось бы, должна глушить всякие другие интересы, как глушит другие растения цепкая повилка. И разве это недостаточно высокая цель жизни: напоминать «обществу», что его радости и забавы отнюдь не составляют радостей и забав общечеловеческих; разъяснить «обществу» истинный смысл «явлений прогресса»; будить, хоть в некоторых, более восприимчивых натурах, сознание и чувство справедливости? И разве на этом обширном поле негде разгуляться поэтическому творчеству?..

Драма, совершающаяся в душе гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что без нее нет никакой возможности свести концы его литературной деятельности с концами» (Сочинения, т. III, с. 493—494, 496).

В настоящее время всем известно, что догадка Михайловского оказалась, в сущности, пророчеством. В 1875-1876 гг., когда Толстой заканчивал «Анну Каренину», он начал вполне сознавать пустоту и двойственность жизни — которую он до тех пор вел. «Со мною, — говорит он, — стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты — сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать...» «Зачем?.. Ну, а потом?» — начали возникать перед ним постоянно вопросы. «Ну, хорошо, — говорил он себе, — у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?.. И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше». Литературная слава потеряла для него привлекательность после того, как он достиг ее вершин по выходе в свет «Войны и мира». Филистерское семейное счастье, картинку которого он дал в повести «Семейное счастье», написанной незадолго до брака, было испытано им и не удовлетворяло его больше. Эпикурейская жизнь, которую он вел до сих пор, потеряла для него всякий смысл. «Я почувствовал, — говорит он в «Исповеди», — что то, на чем я стоял, подломилось; что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, уже нет, что мне нечем жить. Жизнь моя остановилась». Так называемые «семейные обязанности» потеряли для него интерес. Начиная думать о том, как он воспитает детей, он говорил себе: «Зачем?» — и, вероятно, чувствовал, что в его помещичьей обстановке он никогда не сможет дать им воспитание лучше того, которое он получил сам и которое он осуждал. Рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, он вдруг говорил себе: «А мне что за дело?»

Он чувствовал, что ему незачем жить. У него не было даже желаний, которые он сам мог бы признать разумными. «Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мое желание, я бы не знал, что сказать... Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была та, что жизнь есть бессмыслица». У него не было цели в жизни, и он пришел к убеждению, что жизнь без цели, с ее неизбежными страданиями, является невыносимым бременем («Исповедь», IV, VI, VII).

Он не обладал, говоря его словами, «нравственной тупостью воображения», которая требовалась для спокойной эпикурейской жизни среди окружающей нищеты; но в то же время, подобно Шопенгауэру, он не обладал волей, проявление которой было необходимо для согласования его поступков с указаниями его разума. Самоуничтожение, смерть — являлась поэтому единственным разрешением задачи.

Но Толстой был чересчур сильным человеком, чтобы покончить свою жизнь самоубийством. Он нашел выход, и этот выход выразился в возвращении к той любви, которую он питал в юности: любви к крестьянской массе. «Благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу», пишет он, или по каким-либо другим причинам, но он понял наконец, что смысла жизни надо искать среди миллионов, которые всю свою жизнь проводят в труде. Он начал изучать с большим вниманием, чем прежде, жизнь этих миллионов. «И я, — говорит он, — полюбил этих людей». И чем